

Михаил Булгаков

Мастер и Маргарита

Scherz Verlag Bern

Copyright © 1967 Giulio Einaudi editore s.p.a., Turin

Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction réservés pour tous pays

Михаил Булгаков

Мастер и Маргарита

Неизданные отрывки и эпизоды

Scherz Verlag Bern

Мастер и Маргарита

Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого сегодня казнят?

[...] пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирной проповедью!

Лицо первосвященника покрылось пятнами, глаза горели. Он, подобно прокуратору, улыбнулся, скалясь, и ответил:

– Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь? Нет, не веришь! Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь.

[...] неужели ты скажешь мне, что всё это, – тут первосвященник поднял обе руки, и темный капюшон свалился с его головы, – вызвал жалкий разбойник Вар-Равван?

Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домашней работнице Анны Францевны, сказать, в случае, если ему будут звонить, что он вернется через десять минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер.

Набожная, а откровеннее сказать – суеверная, Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца и милиционера, только к ночи не хочет говорить.

Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду, как сквозь землю провалился Беломут, но – правда – при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла, но назад никого не привезла и сама больше не вернулась.

Горе и ужас мадам Беломут не поддаются описанию. Но, увы, и то и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беломут в квартире. Но этого мало: двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными.

Два дня прошли кое-как. На третий же день страдающая всё это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу... Нужно ли говорить, что она не вернулась!

Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись вволю, легла спать во втором часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно, но

рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в № 50-м всю ночь слышались какие-то стуки и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет!

Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса, будто бы, носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке двадцать пять крупных брильянтов, принадлежащих Анне Францевне. Что, будто бы, в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружили сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же брильянтов, а также золотых денег царской чеканки... И прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, за то не ручаемся.

Как бы ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю [...].

[...] скажи мне, любезный Фагот, – осведомился Воланд у клетчатого гаера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме « Коровьев », – как, по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?

Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха публику.

– Точно так, мессир, – негромко ответил Фагот-Коровьев.

– Ты прав. Горожане сильно изменились... внешне, я говорю... как и сам город, впрочем... О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти... как их... трамваи, автомобили...

– Автобусы, – почтительно подсказал Фагот.

Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное бледное лицо Римского.

Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись паузой, заговорил:

– Иностраннный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами, – тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерее.

Воланд, Фагот и кот повернули головы в сторону конференсье.

– Разве я выразил восхищение? – спросил маг у Фагота.

– Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали – ответил тот.

– Так что же говорит этот человек?

– А он попросту соврал! – звучно на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: – Поздравляю вас, гражданин, соврамши!

С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.

– Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая...

– Аппаратура, – подсказал клетчатый.

– Совершенно верно, благодарю, – медленно говорил маг тяжелым басом, – сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?

– Да, это важнейший вопрос, сударь.

В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами, Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начинающуюся тревогу, маг сказал:

– Однако, мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать.

Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, лоя вертлявые, капризные бумажки.

На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение, а артисты без церемонии начали высовываться из кулис.

В бельэтаже послышался голос: – «Ты чего хватаешь? Это моя, ко мне летела!» и другой голос: – «Да ты не толкайся, я тебя сам так толкану!» И вдруг послышалась плюха. Тотчас в бельэтаже появился шлем милиционера, из бельэтажа кого-то повели.

Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны: из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну легкомысленны... ну что же... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних, квартирный вопрос только испортил их...

[...] ровно через одну минуту, и невероятная суэта поднялась на сцене. Женщины наскоро, без всякой примерки, хватали туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила там свой костюм и овладела первым, что подвернулось, – шелковым, в громадных букетах, халатом и, кроме того, успела подцепить два футляра духов.

Стукнет калитка, стукнет сердце, и, вообразите, на уровне моего лица за оконцем обязательно чьи-нибудь грязные сапоги. Точильщик. Ну кому нужен точильщик в нашем доме? Что точить? Какие ножи?

Статьи, заметьте, не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, – и я не мог от этого отделаться, – что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия – страха. Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами.

Но чем далее, тем легче становился его сон. Он перестал ворочаться и стонать, задыхал легко и ровно, и его оставили одного.

Тогда Никанора Ивановича посетило сновидение, в основе которого, несомненно, были его сегодняшние переживания. Началось с того, что Никанору Ивановичу привиделось, будто бы какие-то люди с золотыми трубами в руках подводят его, и очень торжественно, к большим лакированным дверям. У этих дверей спутники сыграли будто бы туш Никанору Ивановичу, а затем гулкий бас с небес весело сказал:

– Добро пожаловать, Никанор Иванович, сдавайте валюту!

Удивившись крайне, Никанор Иванович увидел над собою черный громкоговоритель.

Затем он почему-то очутился в театральном зале, где под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, а на стенах кенкеты. Всё было, как следует, как в небольшом по размерам, но очень богатом театре. Имелась сцена, задернутая бархатным занавесом, по темно-вишневому фону усеянным, как звездочками, изображениями золотых увеличенных десятков, суфлерская будка и даже публика.

Удивило Никанора Ивановича то, что вся эта публика была одного пола – мужского, и вся почему-то с бородами. Кроме того, поражало, что в театральном зале не было стульев и вся эта публика сидела на полу, великолепно натертом и скользком.

Конфузаясь в новом и большом обществе, Никанор Иванович, помявшись некоторое время, последовал общему примеру и уселся на паркете по-турецки, примостившись между каким-то рыжим здоровяком-бородачом и другим, бледным и сильно заросшим гражданином. Никто из сидящих не обратил внимания на новоприбывшего зрителя.

Тут послышался мягкий звон колокольчика, свет в зале потух, занавес разошелся и обнаружилась освещенная сцена с

креслом, столиком, на котором был золотой колокольчик, и с глухим черным бархатным задником.

Из кулис вышел тут артист в смокинге, гладко выбритый и причесанный на пробор, молодой и с очень приятными чертами лица. Публика в зале оживилась, и все повернулись к сцене. Артист подошел к будке и потер руки.

– Сидите? – спросил он мягким баритоном и улыбнулся залу.

– Сидим, сидим, – хором ответили ему из зала тенора и басы.

– Гм... – заговорил задумчиво артист, – и как вам не надоест, я не понимаю! Все люди, как люди, ходят сейчас по улицам, наслаждаются весенним солнцем и теплом, а вы здесь на полу торчите в душном зале! Неужто программа такая интересная? Впрочем, что кому нравится, – философски закончил артист.

Затем он переменял и тембр голоса и интонации и весело и звучно объявил:

– Итак, следующим номером нашей программы – Никанор Иванович Босой, председатель домового комитета и заведующий диететической столовой. Попросим Никанора Ивановича!

Дружный аплодисмент был ответом артисту. Удивленный Никанор Иванович вытаращил глаза, а конференсье, закрывшись рукою от света рамп, нашел его взором среди сидящих и ласково поманил его пальцем на сцену. И Никанор Иванович, не помня как, оказался на сцене. В глаза ему снизу и спереди ударил свет цветных ламп, от чего сразу провалился в темноту зал с публикой.

– Ну-с, Никанор Иванович, покажите нам пример, – задумшевно сказал молодой артист, – и сдавайте валюту.

Наступила тишина. Никанор Иванович перевел дух и тихо заговорил:

– Богом клянусь, что...

Но не успел он произнести эти слова, как весь зал разразился криками негодования. Никанор Иванович растерялся и умолк.

– Насколько я понял вас, – заговорил ведущий программу, – вы хотели поклясться богом, что у вас нет валюты? – И он участливо поглядел на Никанора Ивановича.

– Так точно, нету, – ответил Никанор Иванович.

– Так, – отозвался артист, – а... простите за нескромность, откуда же взялись четыреста долларов, обнаруженные в уборной той квартиры, единственным обитателем коей являетесь вы с вашей супругой?

– Волшебные! – явно иронически сказал кто-то в темном зале.

– Так точно, волшебные, – робко ответил Никанор Иванович по неопределенному адресу, не то артисту, не то в темный зал, и пояснил: – нечистая сила, клетчатый переводчик подбросил.

И опять негодуя взревел зал. Когда же настала тишина, артист сказал:

– Вот какие басни Лафонтена приходится мне выслушивать! Подбросили четыреста долларов! Вот вы все здесь – валютчики, обращаясь к вам, как к специалистам: мыслимое ли это дело?

– Мы не валютчики, – раздались отдельные обиженные голоса в театре, – но дело это немыслимое!

– Целиком присоединяюсь, – твердо сказал артист, – и спрошу вас: что могут подбросить?

– Ребенка! – крикнул кто-то из зала.

– Абсолютно верно, – подтвердил ведущий программу, – ребенка, анонимное письмо, прокламацию, адскую машину, мало ли что еще, но четыреста долларов никто не станет подбрасывать, ибо такого идиота в природе не имеется, – и обратившись к Никанору Ивановичу, артист добавил укоризненно и печально: – Огорчили вы меня, Никанор Иванович, а я-то на вас надеялся. Итак, номер наш не удался.

В зале раздался свист по адресу Никанора Ивановича.

– Валютчик он – выкрикивали в зале, – из-за таких-то и мы невинно терпим!

– Не ругайте его, – мягко сказал конферансье, – он раскается. – И, обратив к Никанору Ивановичу полные слез голубые глаза, добавил: – Ну, идите, Никанор Иванович, на место.

После этого артист позвонил в колокольчик и громко объявил:

– Антракт, негодяи!

Потрясенный Никанор Иванович, неожиданно для себя ставший участником какой-то театральной программы, опять оказался на своем месте на полу. Тут ему приснилось, что зал погрузился в полную тьму и что на стенах выскочили красные горящие слова: «Сдавайте валюту!» Потом опять раскрылся занавес и конферансье пригласил:

– Попрошу на сцену Сергея Герардовича Дунчиль.

Дунчиль оказался благообразным, но сильно запущенным мужчиной лет пятидесяти.

– Сергей Герардович, – обратился к нему конферансье, – вот уже полтора месяца вы сидите здесь, упорно отказываясь сдать оставшуюся у вас валюту в то время как страна нуждается в ней, а вам она совершенно ни к чему. А вы всё-таки упорствуете.

Вы – человек интеллигентный, прекрасно всё это понимаете и всё же не хотите пойти мне навстречу.

– К сожалению, ничего сделать не могу, так как валюты у меня больше нету, – спокойно ответил Дунчиль.

– Так нет ли, по крайней мере, брильянтов? – спросил артист.

– И брильянтов нет.

Артист повесил голову и задумался, а потом хлопнул в ладоши. Из кулисы вышла на сцену средних лет дама, одетая по моде, то есть в пальто без воротника и в крошечной шляпке. Дама имела встревоженный вид, а Дунчиль поглядел на нее, не шевельнув бровью.

– Кто эта дама? – спросил ведущий программу у Дунчиля.

– Это моя жена, – с достоинством ответил Дунчиль и посмотрел на длинную шею дамы с некоторым отворачиванием.

– Мы потревожили вас, мадам Дунчиль, – отнесся к даме конферансье, – вот по какому поводу: мы хотели вас спросить, есть ли еще у вашего супруга валюта?

– Он тогда всё сдал, – волнуясь, ответила мадам Дунчиль.

– Так, – сказал артист, – ну, что же, раз так, то так. Если всё сдал, то нам надлежит немедленно расстаться с Сергеем Герардовичем, что же поделаешь! Если угодно, вы можете покинуть театр, Сергей Герардович, – и артист сделал царственный жест.

Дунчиль спокойно и с достоинством повернулся и пошел к кулисе.

– Одну минуточку! – остановил его конферансье, – позвольте мне на прощанье показать вам еще один номер из нашей программы, – и опять хлопнул в ладоши.

Черный задний занавес раздвинулся, и на сцену вышла юная красавица в бальном платье, держащая в руках золотой подносик, на котором лежала толстая пачка, перевязанная конфетной лентой, и брильянтовое кольцо, от которого во все стороны отскакивали синие, желтые и красные огни.

Дунчиль отступил на шаг и лицо его покрылось бледностью. Зал замер.

– Восемнадцать тысяч долларов и кольцо в сорок тысяч золотом, – торжественно объявил артист, – хранил Сергей Герардович в городе Харькове в квартире своей любовницы Иды Геркулановны Ворс, которую мы имеем удовольствие видеть перед собою и которая любезно помогла обнаружить эти бесценные, но бесцельные в руках частного лица сокровища. Большое спасибо, Ида Геркулановна.

Красавица, улыбнувшись, сверкнула зубами и мохнатые ее ресницы дрогнули.

– А под вашу полную достоинства личиной, – отнесся артист к Дунчилю, – скрывается жадный паук и поразительный охмуряло и врун. Вы извели всех за полтора месяца своим тупым упрямством. Ступайте же теперь домой, и пусть тот ад, который устроит вам ваша супруга, будет вам наказанием.

Дунчиль качнулся и, кажется, хотел повалиться, но чьи-то участливые руки подхватили его. Тут рухнул передний занавес и скрыл всех бывших на сцене.

Бешеные рукоплескания потрясли зал до того, что Никанору Нвановичу показалось, будто в люстрах запрыгали огни. А когда передний занавес ушел вверх, на сцене уже никого не было, кроме одинокого артиста. Он сорвал второй залп рукоплесканий, раскланялся и заговорил:

– В лице этого Дунчиля перед вами выступил в нашей программе типичный осел. Ведь я же имел удовольствие говорить вчера, что тайное хранение валюты является бессмыслицей. Использовать ее никто не может ни при каких обстоятельствах, уверяю вас. Возьмем хотя бы этого Дунчиля. Он получает великолепное жалованье и ни в чем не нуждается. У него прекрасная квартира, жена и красавица-любовница. Так нет же! Вместо того, чтобы жить тихо и мирно, без всяких неприятностей, сдав валюту и камни, этот корыстный болван добился всё-таки того, что был разоблачен при всех и на закуску нажил крупнейшую семейную неприятность. Итак, кто сдает? Нет желающих? В таком случае, следующим номером нашей программы – известный драматический талант, артист Куролесов Савва Потапович, специально приглашенный, исполнит отрывки из «Скупого рыцаря» поэта Пушкина.

Обещанный Куролесов не замедлил появиться на сцене и оказался рослым и мясистым бритым мужчиной во фраке и белом галстуке. Без всяких предисловий он скроил мрачное лицо, сдвинул брови и заговорил ненатуральным голосом, косясь на золотой колокольчик:

– Как молодой повеса ждет свиданья с какой-нибудь развратницей лукавой...

И Куролесов рассказал о себе много нехорошего. Никанор Иванович слышал, как Куролесов признавался в том, что какая-то несчастная вдова, воя, стояла перед ним на коленях под дождем, но не тронула черствого сердца артиста.

Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал про-

изведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по несколько раз произносил фразы вроде: «А за квартиру Пушкин платить будет?» или «Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?» «Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?...»

Теперь, познакомившись с одним из его произведений, Никанор Иванович загрустил, представил себе женщину на коленях, с сиротами, под дождем и невольно подумал: «А тип, всё-таки этот Куролесов!»

А тот, все повышая голос, продолжал каяться и окончательно запутал Никанора Ивановича, потому что вдруг стал обращаться к кому-то, кого на сцене не было, и за этого отсутствующего сам же себе и отвечал, причем называл себя то государем, то бароном, то отцом, то сыном, то на вы, а то на ты.

Никанор Иванович понял только одно, что помер артист злою смертью, прокричав: «Ключи! Ключи мои!», повалившись после этого на пол, хрипя и осторожно срывая с себя галстук.

Умерев, Куролесов поднялся, отряхнул пыль с фрачных брюк, поклонился, улыбнувшись фальшивой улыбкой, и удалился при жидких аплодисментах. А конференсье заговорил так:

– Мы прослушали с вами, в замечательном исполнении Саввы Потаповича, «Скупого рыцаря». Этот рыцарь надеялся, что резвые нимфы сбегутся к нему и произойдет еще многое приятное в том же духе. Но, как видите, ничего этого не случилось, никакие нимфы не сбежались к нему, и музы ему дань не принесли, и чертогов он никаких не воздвиг, а, наоборот, кончил очень скверно, помер к чертовой матери от удара на своем сундуке с валютой и камнями. Предупреждаю вас, что и с вами случится что-нибудь в этом роде, если только не хуже, ежели вы не сдадите валюту!

Поэзия ли Пушкина произвела такое впечатление или прозаическая речь конференсье, но только вдруг из зала раздался застенчивый голос:

– Я сдаю валюту.

– Милости прошу на сцену, – вежливо пригласил конференсье, всматриваясь в темный зал.

И на сцене оказался маленького роста белокурый гражданин, судя по лицу, не брившийся около трех недель.

– Виноват, как ваша фамилия? – осведомился конференсье.

– Канавкин Николай, – застенчиво отозвался появившийся.

– А! Очень приятно, гражданин Канавкин. Итак?...

- Сдаю, – тихо сказал Канавкин.
- Сколько?
- Тысячу долларов и двадцать золотых десятков.
- Bravo! Всё, что есть?

Ведущий программу уставился прямо в глаза Канавкину, и Никанору Ивановичу даже показалось, что из этих глаз брызнули лучи, пронизывающие Канавкина насквозь, как бы рентгеновские лучи. В зале перестали дышать.

– Верю! – наконец, воскликнул артист и погасил свой взор, – верю! Эти глаза не лгут! Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что вы не дооцениваете значения человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза – никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говорите и ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но – увы – встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено! Она замечена, а вы пойманы!

Произнеся, и с большим жаром, эту очень убедительную речь, артист ласково осведомился у Канавкина:

- Где же спрятаны?
- У тетки моей, Пороховниковой, на Пречистенке.
- А! Это... постойте... это у Клавдии Ильинишны, что ли?
- Да.

– Ах, да, да, да, да! Маленький особнячек? Напротив еще палисадничек? Как же, знаю, знаю! А куда же их вы там засунули?

– В погребе, в коробке из-под Эйнема...

Артист всплеснул руками.

– Видали вы что-нибудь подобное? – вскричал он огорченно, – да ведь они же там заплесневеют, отсыреют! Ну мыслимо ли таким людям доверять валюту? А? Чисто как дети! Ей-богу!...

Канавкин и сам понял, что нагробил и проштрафился, и повесил свою хохлатую голову.

– Деньги, – продолжал артист, – должны храниться в госбанке, в специальных сухих и хорошо охраняемых помещениях, а отнюдь не в теткинском погребе, где их могут, в частности, попортить крысы! Право, стыдно, Канавкин, ведь вы же – взрослый человек!

Канавкин уж не знал, куда и деваться, и только колупал пальцем борт своего пиджачка.

– Ну ладно, – смягчился артист, – кто старое помянет... – И вдруг добавил неожиданно: – Да, кстати... за одним разом чтобы... чтоб машину зря не гонять... у тетки этой самой ведь тоже есть, а?

Канавкин, никак не ожидавший такого оборота дела, дрогнул, и в театре наступило молчание.

– Ээ, Канавкин... – укоризненно-ласково сказал конферансье, – а я-то еще похвалил его! На-те, взял да и засбоил ни с того ни с сего! Нелепо это, Канавкин! Ведь я только что говорил про глаза. Ведь видно, что у тетки есть. Ну, чего вы нас зря терзаете?

– Есть! – залихватски крикнул Канавкин.

– Bravo! – крикнул конферансье.

– Bravo! – страшно взревел зал.

Когда утихло, конферансье поздравил Канавкина, пожал ему руку, предложил отвезти в город в машине домой, и в этой же машине приказал кому-то в кулисах захватить за теткой и просить ее пожаловать в женский театр на программу.

– Да, я хотел спросить, тетка не говорила, где свои прячет – осведомился конферансье, любезно предлагая Канавкину папиросу и зажженную спичку. Тот, закуривая, усмехнулся как-то тоскливо.

– Верю, верю, – вздохнув, отозвался артист, – эта старая сквальга не то, что племяннику, – черту не скажет этого! Ну, что ж, попробуем пробудить в ней человеческие чувства. Быть может, еще не все струны сгнили в ее ростовщицъей душонке. Всего доброго, Канавкин!

И счастливый Канавкин уехал. Артист осведомился, нет ли еще желающих сдать валюту, но получил в ответ молчание.

– Чудаки, ей-богу! – пожав плечами, проговорил артист, и занавес скрыл его.

Лампы погасли, некоторое время была тьма и издалека в ней слышался нервный тенор, который пел:

« Там груды золота лежат и мне они принадлежат... »

Потом откуда-то глухо дважды донесся аплодисмент.

– В женском театре дамочка какая-то сдает, – неожиданно заговорил рыжий бородатый сосед Никанора Ивановича и, вздохнув, прибавил: – Эх, кабы не гуси мои!... У меня, милый человек, бойцовые гуси в Лианозове... подохнут они, боюсь, без меня. Птица боевая, нежная, ухода требует... Эх, кабы не гуси!... Пушкиным-то меня не удивишь... – И он опять завздохнул.

Тут зал осветился ярко, и Никанору Ивановичу стало снится,

что из всех дверей в зал посыпались повара в белых колпаках и с разливными ложками в руках. Поварята втащили в зал чан с супом и лоток с нарезанным черным хлебом. Зрители оживились. Веселые повара шныряли между театрами, разливали суп в миски и раздавали хлеб.

– Обедайте, ребята, – кричали повара, – и сдавайте валюту! Чего вам зря здесь сидеть? Охота была эту баланду хлебать! Поехал домой, выпил как следует, закусил, хорошо!

– Ну, чего ты, например, засел здесь, отец? – обратился непосредственно к Никанору Ивановичу толстый с малиновой шеей повар, протягивая ему миску, в которой в жидкости одиноко плавал капустный лист.

– Нету! Нету! Нету у меня! – страшным голосом прокричал Никанор Иванович, – понимаешь, нету!

– Нету? – грозным басом взревел повар, – нету? – женским ласковым голосом спросил он, – нету, нету, – успокоительно забормотал он, превращаясь в фельдшерицу Прасковью Федоровну.

Та ласково трясла стонущего во сне Никанора Ивановича за плечо. Тогда растаяли повара и развалился театр с занавесом. Никанор Иванович сквозь слезы разглядел свою комнату в лечебнице и двух в белых халатах, но отнюдь не развязных поваров, сующихся к людям со своими советами, а доктора и всё ту же Прасковью Федоровну, держащую в руках не миску, а тарелочку, накрытую марлей, с лежащим на ней шприцем.

– Ведь это что же, – горько говорил Никанор Иванович, пока ему делали укол, – нету у меня и нету! Пусть Пушкин им сдает валюту. Нету!

– Нету, нету, – успокаивала добросердечная Прасковья Федоровна, – а на нет и суда нет.

Никанору Ивановичу полегчало после впрыскивания, и он заснул без всяких сновидений.

Но благодаря его выкрикам [...].

Дорогой мой, я открою вам тайну. Я вовсе не артист, а просто мне хотелось повидать москвичей в массе, а удобнее всего это было сделать в театре. Ну вот, моя свита, – он кивнул в сторону кота, – и устроила этот сеанс, я же лишь сидел и смотрел на москвичей. Но не меняйтесь в лице, а скажите [...].

Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновенья ветерка, ни шевеленья облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека!

– Ну, конечно, это Дарья рассказывала, – говорила Маргарита Николаевна, – я давно уже за ней замечаю, что она страшная врунья.

Вот из-за этого Желдыбин этот самый так и волнуется теперь. А двое, что шепчутся в троллейбусе, тоже имеют какое-то отношение к обокраденному покойнику.

– Поспеем ли за цветами заехать? – беспокоился маленький, – кремация, ты говоришь, в два?

Если ты сослан, то почему же ты не даешь знать о себе? Ведь дают же люди знать. Ты разлюбил меня? Нет, я почему-то этому не верю. Значит, ты был сослан и умер...

Даже на расстоянии Маргарита разглядела, что лица стоящих в похоронной машине людей, сопровождающих покойника в последний путь, какие-то странно растерянные. В особенности это было заметно в отношении гражданки, стоявшей в левом заднем углу автодрог. Толстые щеки этой гражданки, как будто, изнутри распирало еще больше какой-то пикантной тайной, в заплывших глазках играли двусмысленные огоньки. Казалось, что вот-вот еще немного, и гражданка, не вытерпев, подмигнет на покойника и скажет: «Видали вы что-либо подобное? Прямо

мистика!...» Столь же растерянные лица были и у пешех про-
вожающих, которые, в количестве человек трехсот, примерно,
медленно шли за похоронной машиной.

[...] я, впрочем, полагаю, что об этом Бегемота не худо бы
спросить. До ужаса ловко сперли! Такой скандалице!...

– Я еще кой-кого ненавижу, – сквозь зубы ответила Марга-
рита, – но об этом неинтересно говорить.

Процессия в это время двинулась дальше, за пешими потяну-
лись пустые, большею частью, автомобили.

– Да уж, конечно, чего тут интересного [...].

– С этого прямо и нужно было начинать, – заговорила она, –
а не молоть, черт знает что, про отрезанную голову! Вы меня
хотите арестовать?

– Ничего подобного! – воскликнул рыжий, – что это такое:
раз заговорил, так уж непременно арестовать! Просто есть к
вам дело.

[...] заговорил громче, – простите, ведь я сказал вам, что ни
из какого я не из учреждения.

– А вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про
мои мысли?

– Не скажу, – сухо ответил Азazelло.

– А зачем я ему понадобилась? – вкрадчиво спросила Марга-
рита.

– Вы об этом узнаете после.

– Понимаю... я должна ему отдаться, – сказала Маргарита
задумчиво.

На это Азazelло как-то надменно хмыкнул и ответил так:

– Любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об
этом, – рожу Азazelло перекосило смешком, – но я разочарую
вас, этого не будет.

– Нет, погодите... Я знаю, на что иду. Но иду на все из-за него, потому что ни на что в мире больше надежды у меня нет. Но я хочу вам сказать, что если вы меня погубите, вам будет стыдно! Да, стыдно! Я погибаю из-за любви! – и стукнув себя в грудь, Маргарита глянула на солнце.

Маргарита быстро сунула руку в сумочку, куда перед этим криком спрятала коробочку, и убедилась, что она там. Тогда, ни о чем не размышляя, Маргарита торопливо побежала из Александровского сада вон.

Наташа, забыв про валяющееся на полу мятое платье, подбежала к трюмо и жадными загоревшимися глазами уставилась на остаток мази. Губы ее что-то шептали. Она опять повернулась к Маргарите и проговорила с каким-то благоговением:

– Кожа-то, а? Кожа-то! Маргарита Николаевна, ведь ваша кожа светится! – Но тут она опомнилась, подбежала к платью, подняла и стала отряхивать его.

– Бросьте! Бросьте! – кричала ей Маргарита, – к черту его! Все бросьте! Впрочем, нет, берите его себе на память. Говорю, берите на память. Все забирайте, что есть в комнате!

«Э, какое месиво! – сердито подумала Маргарита, – тут повернуться нельзя».

Венчающая список надпись «Дом драматурга и литератора» заставила Маргариту испустить хищный задушенный вопль.

Инструмент гудел, выл, хрипел, звенел. Со звуком револьверного выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная дека. Тяжело дыша, Маргарита рвала и мяла молотком струны. Наконец, устав, отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы отдышаться.

Полную чернильницу, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двуспальную кровать.

Поэтому она стала делать, что попало. Она била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не dokonчив этого, возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простыни, била застекленные фотографии. Усталости она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями.

Покончив с окнами Латунского, Маргарита поплыла к соседней квартире. Удары стали чаще, переулочек наполнился звоном и грохотом. Из первого подъезда выбежал швейцар, поглядел вверх, немного поколебался, очевидно, не сообразив сразу, что ему предпринять, всунул в рот свисток и бешено зашвистел. С особенным азартом под этот свист рассадив последнее

окно в восьмом этаже, Маргарита спустилась к седьмому и начала крушить стекла в нем.

Измученный долгим бездельем за зеркальными дверями подъезда, швейцар вкладывал в свист всю душу, причем точно следовал за Маргаритой, как бы аккомпанируя ей. В паузах, когда она перелетала от окна к окну, он набирал духу, и при каждом ударе Маргариты, надув щеки, заливался, буравя ночной воздух до самого неба.

Его усилия, в соединении с усилиями разъяренной Маргариты, дали большие результаты. В доме шла паника. Целые еще стекла распахивались, в них появлялись головы людей и тотчас же прятались, – открытые же окна, наоборот, закрывались. В противоположных домах, в окнах, на освещенном фоне возникали темные силуэты людей, старавшихся понять, почему без всякой причины лопаются стекла в новом здании Драмлита.

Тут Маргаритой овладела мысль, что, по сути дела, она зря столь исступленно гонит щетку, что она лишает себя возможности что-либо как следует рассмотреть, как следует упиться полетом. Ей что-то подсказывало, что там, куда она летит, ее подождают, и что незачем ей скучать от такой безумной быстроты и высоты.

Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так что хвост ее поднялся кверху и, очень замедлив ход, пошла к самой земле. И это скольжение, как на воздушных салазках, вниз – принесло ей наибольшее наслаждение. Земля поднялась к ней, и в бесформенной до этого черной гуще ее обозначились тайны и прелести земли во время лунной ночи. Земля шла к ней, и Маргариту уже обдавало запахом зеленеющих лесов. Маргарита летела над самыми туманами росистого луга, потом над прудом. Под Маргаритой хором пели лягушки, а где-то вдали почему-то очень волнуя сердце, шумел поезд. Маргарита вскоре увидела его. Он полз медленно, как гусеница, сыпя в воздух искры. Обогнав его, Маргарита прошла еще над одним водным зеркалом, в котором проплыла под ногами вторая луна, еще более снизилась и пошла, чуть-чуть не задевая ногами верхушки громадных сосен.

– Душенька! Маргарита Николаевна! – кричала Наташа, скача рядом с Маргаритой, – сознаюсь, взяла крем! Ведь и мы

хотим жить и летать! Простите меня, повелительница, а я не вернусь, нипочем не вернусь! Ах, хорошо, Маргарита Николаевна!... Предложение мне делал, – Наташа стала тыкать пальцем в шею сконфуженно пыхтящего борова, – предложение! Ты как меня называл, а? – кричала она, наклоняясь к уху борова.

– Богиня! – завывал тот, – не могу я так быстро лететь! Я бумаги могу важные растерять, Наталья Прокофьевна, я протестую!

– Да ну тебя, к черту, с твоими бумагами! – дерзко хохоча, кричала Наташа.

– Что вы, Наталья Прокофьевна, нас услышит кто-нибудь! – моляще орал боров.

Маргарита! Королева! Упростите за меня, чтоб меня ведьмой оставили! Вам все сделают, вам власть дана!

И Маргарита отозвалась:

– Хорошо, я обещаю.

– Спасибо! – прокричала Наташа и вдруг закричала резко и как-то тоскливо: – Гей! Гей! Скорей! Скорей! А ну-ка, надбавь!

Рядом с Маргаритой никого не было, но немного подалее за кустами слышались всплески и фыркanye – там тоже кто-то купался.

Маргарита выбежала на берег. Тело ее пылало после купанья. Усталости никакой она не ощущала и радостно приплясывала на влажной траве.

Вдруг она перестала танцевать и насторожилась. Фыркanye приблизилось, и из-за раковых кустов вылез какой-то голый толстяк в черном шелковом цилиндре, заломленном на затылок. Ступни его ног были в илистой грязи, так что казалось, будто купальщик в черных ботинках. Судя по тому, как он отдувался и икал, был он порядочно выпивши, что, впрочем, подтверждалось и тем, что река вдруг стала издавать запах коньяку.

Увидев Маргариту, толстяк стал вглядываться, а потом радостно заорал:

– Что такое? Ее ли я вижу? Клодина, да ведь это ты, неунывающая вдова! И ты здесь? – тут он полез здороваться.

Маргарита отступила и с достоинством ответила:

– Пошел ты к чертовой матери! Какая я тебе Клодина? Ты смотри, с кем разговариваешь, – и, подумав мгновение, она при-

бавила к своей речи длинное непечатное ругательство. Все это произвело на легкомысленного толстяка отрезвляющее действие.

– Ой! – тихо воскликнул он и вздрогнул, – простите великодушно, светлая королева Марго! Я обознался. А виноват коньяк, будь он проклят! – толстяк опустился на одно колено, цилиндр отнес в сторону, сделал поклон и залопотал, мешая русские фразы с французскими, какой-то вздор про кровавую свадьбу своего друга в Париже Гессара и про коньяк и про то, что он подавлен грустной ошибкой.

– Ты бы брюки надел, сукин сын, – сказала, смягчаясь, Маргарита.

Толстяк радостно осклабился, видя, что Маргарита не сердится, и восторженно сообщил, что оказался без брюк в данный момент лишь потому, что по рассеянности оставил их на реке Енисее, где купался перед тем, но что он сейчас же летит туда, благо это рукой подать, и затем, поручив себя расположению и покровительству, начал отступать задом и отступал до тех пор пока не поскользнулся и навзничь не упал в воду. Но и падая, сохранил на окаймленном небольшими бакенбардами лице улыбку восторга и преданности.

Короткое пребывание Маргариты под вербами ознаменовалось одним эпизодом: в воздухе раздался свист, и черное тело, явно промахнувшись, обрушилось в воду. Через несколько мгновений перед Маргаритой предстал тот самый толстяк-бакенбардист, что так неудачно представился на том берегу. Он успел, по-видимому, смотаться на Енисей, ибо был во фрачном наряде, но мокр с головы до ног. Коньяк подвел его вторично: высаживаясь, он все-таки угодил в воду. Но улыбки своей он не утратил и в этом печальном случае, и был смеющейся Маргаритой допущен к руке.

Второго, до удивительности похожего на первого, человека встретили у шестого подъезда. И опять повторилась та же история. Шаги... человек беспокойно обернулся и нахмурился. Когда же дверь открылась и закрылась, кинулся вслед за невидимыми входящими, заглянул в подъезд, но ничего, конечно, не увидел.

Третий, точная копия второго, а стало быть и первого, дежурил на площадке третьего этажа. Он курил крепкие папиросы, и Маргарита раскашлялась, проходя мимо него. Курящий, как будто его кольнули, вскочил со скамейки, на которой сидел, начал беспокойно оглядываться, подошел к перилам, глянул вниз. Маргарита со своим провожатым в это время уже была у дверей квартиры № 50.

Как ни мало давала свету коровьевская лампадка, Маргарита поняла, что она находится в совершенно необъятном зале, да еще с колоннадой, темной и, по первому впечатлению, бесконечной. Возле какого-то диванчика Коровьев остановился, поставил свою лампадку на какую-то тумбу, жестом предложил Маргарите сесть, а сам поместился подле в живописной позе, облокотившись на тумбу.

Она вздрогнула.

– Не пугайтесь, – сладко успокоил Коровьев, беря Маргариту под руку, – бальные ухищрения Бегемота, ничего более. И вообще, я позволю себе смелость посоветовать вам, Маргарита Николаевна, никогда и ничего не бояться. Это неразумно. Бал будет пышный, не стану скрывать от вас этого. Мы увидим лиц, объем власти которых в свое время был чрезвычайно

велик. Но, право, как подумаешь о том, насколько микроскопически малы их возможности по сравнению с возможностями того, в чьей свите я имею честь состоять, становится смешно и даже, я бы сказал, грустно... Да и притом, вы сами – королевской крови.

– Почему королевской крови? – испуганно шепнула Маргарита, прижимаясь к Коровьеву.

– Ах, королева, – игриво трещал Коровьев, – вопросы крови – самые сложные вопросы в мире! И если бы расспросить некоторых прабабушек, в особенности, тех из них, что пользовались репутацией смиренных, удивительнейшие тайны открылись бы, уважаемая Маргарита Николаевна! Я ничуть не погрешу, если, говоря об этом, упомяну о причудливо тасуемой колоде карт. Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни сословные перегородки, ни даже границы между государствами. Намекну: одна из французских королев, жившая в шестнадцатом веке, надо полагать, очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее прелестную пра-пра-пра-правнучку я, по прошествии многих лет, буду вести под руку в Москве по бальным залам. Но мы пришли!

[...] заметил как бы про себя:

– Да, прав Коровьев. Как причудливо тасуется колода! Кровь! Он протянул руку и поманил к себе Маргариту.

– Я сяду, – ответил кот, садясь, – но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволите выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпириус, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель.

– Шах королю, – сказал Воланд.

– Пожалуйста, пожалуйста, – отозвался кот и стал в бинокль смотреть на доску.

На доске, тем временем, происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки-ландскнехты с алебардами растерянно глядели на офицера, размахивающего

шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белой и черной, виднелись черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки, конях.

Маргариту чрезвычайно заинтересовало и поразило то, что шахматные фигуры были живые.

Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками.

– Плоховато дельце, дорогой Бегемот, – тихо сказал Коровьев ядовитым голосом.

– Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное, – отозвался Бегемот, – больше того: я вполне уверен в конечной победе. Стоит хорошенько проанализировать положение.

Этот анализ он начал производить довольно странным способом, именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать своему королю.

– Ничего не помогает, – заметил Коровьев.

– Ай! – вскричал Бегемот, – попугаи разлетелись, что я и предсказывал!

Действительно, где-то вдали послышался шум многочисленных крыльев. Коровьев и Азazelло бросились вон из комнаты.

– А черт вас возьми, с вашими бальными затеями! – буркнул Воланд, не отрываясь от своего глобуса.

Лишь только Коровьев и Азazelло скрылись, мигание Бегемота приняло усиленные размеры. Белый король, наконец, догадался, чего от него хотят. Он вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял место короля.

Коровьев и Азazelло вернулись.

– Браки, как и всегда, – ворчал Азazelло, косясь на Бегемота.

– Мне послышалось, – ответил кот.

– Ну, что же, долго это будет продолжаться? – спросил Воланд, – шах королю.

– Я, вероятно, ослышался, мой мэтр, – ответил кот, – шаха королю нет и быть не может.

– Повторяю, шах королю.

– Мессир, – тревожно-фальшивым голосом отозвался кот, – вы переутомились, нет шаха королю!

– Король на клетке Г 2, – не глядя на доску, сказал Воланд.

– Мессир, я в ужасе! – завыл кот, изображая ужас на своей морде, – на этой клетке нет короля!

– Что такое? – в недоумении спросил Воланд и стал глядеть

на доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и закрывался рукой.

– Ах ты, подлец, – задумчиво сказал Воланд.

– Мессир! Я вновь обращаюсь к логике! – заговорил кот, прижимая лапы к груди, – если игрок объявляет шах королю, а короля, между тем, уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным!

– Ты сдаешься или нет? – прокричал страшным голосом Воланд.

– Разрешите подумать, – смиренно ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать. Думал он долго и, наконец, сказал: – Сдаюсь.

– Убить упрямую тварь, – шепнул Азazelло.

– Да, сдаюсь, – сказал кот, – но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников! – Он поднялся, и шахматные фигурки полезли в ящик.

– Гелла, пора, – сказал Воланд, и Гелла исчезла из комнаты.

– Нога разболелась, а тут этот бал... – продолжал Воланд.

– Позвольте мне, – тихо попросила Маргарита.

Воланд пристально поглядел на нее и пододвинул к ней колено.

Горячая, как лава, жижка обжигала руки, но Маргарита, не морщась, стараясь не причинять боли, втирала ее в колено.

– Приближенные утверждают, что это ревматизм, – говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты, – но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в 1571-м году в Брокенских горах, на Чертовой Кафедре.

– Ах, может ли это быть! – сказала Маргарита.

– Вздор! Лет через триста это пройдет! Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительные травы оставила в наследство поганая старушка, моя бабушка! Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу тоска?

– Нет, мессир, ничего этого нет, – ответила умница-Маргарита, – а теперь, когда я у вас, я чувствую себя совсем хорошо.

– Кровь – великое дело... – неизвестно к чему, весело сказал Воланд и прибавил: [...].

– А, хорошо. – Воланд обратился к Маргарите: – Итак, прошу вас... Заранее благодарю вас. Не теряйтесь и ничего не бойтесь. Ничего не пейте, кроме воды, а то вы разомлеете и вам будет трудно. Пора!

Маргарита поднялась с коврика, и тогда в дверях возник Коровьев.

– Все должно быть готово заранее, королева, – объяснял Коровьев, поблескивая глазом сквозь испорченный монокль, – ничего не может быть гаже, чем когда приехавший первый гость мыкается, не зная, что ему предпринять, а его законная мегера шепотом пилит его за то, что они приехали раньше всех. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева.

– Определенно на помойку, – подтвердил кот.

Маргарита, не переставая улыбаться и качать правой рукой, острые ногти левой запустила в бегемотово ухо и зашептала ему:

– Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор...

Бегемот как-то не по-бальному пискнул и захрипел:

– Королева... ухо вспухнет... зачем же портить бал вспухшим ухом?... Я говорил юридически, с юридической точки зрения... Молчу, молчу, считайте, что я не кот, а рыба, только оставьте ухо!

Маргарита выпустила ухо [...].

Теперь снизу уже стеною шел народ, как бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита. Голые женские тела поднимались между фрачными мужчинами. На Маргариту наплывали их смуглые и белые, и цвета кофейного зерна, и вовсе черные тела. В волосах рыжих, черных, каштановых, светлых, как лен, – в ливне света играли и плясали, рассыпали искры драгоценные камни. И как будто кто-то окропил штурмующую колонну мужчин капельками света, – с грудей брызгали светом бриллиантовые запонки. Теперь Маргарита ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в неподвижную маску привета.

– Я в восхищении, – монотонно пел Коровьев, – мы в восхищении... королева в восхищении...

– Королева в восхищении... – гнусил за спиной Азazelло.

– Я восхищен! – вскрикивал кот.

– Маркиза... – бормотал Коровьев, – отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства... Королева в восхищении!... Госпожа Минкина... Ах, как хороша! Немного нервозна. Зачем же было жечь горничной лицо щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежут... Королева в восхищении!... Королева, секунду внимания! – Император Рудольф – чародей и алхимик... Еще алхимик – повешен... Ах, вот и она! Ах, какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге!... Мы в восхищении!... Московская портниха, мы все ее любим за неистощимую фантазию... Держала ателье и придумала страшно смешную штуку: повертела две круглые дырочки в стене...

– А дамы не знали? – спросила Маргарита.

– Все до одной знали, королева, – отвечал Коровьев. – Я в восхищении!... Этот двадцатилетний мальчуган с детства отличался странными свойствами, мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, а он взял и продал ее в публичный дом...

Снизу текла река, конца этой реке не было видно. Источник ее – громадный камин – продолжал ее питать. Так прошел час и пошел второй час. Тут Маргарита стала замечать, что цепь ее сделалась тяжелее, чем была. Что-то странное произошло и с рукой. Теперь перед тем, как поднять ее, Маргарите приходилось морщиться. Интересные замечания Коровьева перестали занимать Маргариту. И раскосые монгольские лица, и лица белые и черные сделались безразличными, по временам сливались, а воздух между ними почему-то начинал дрожать и струиться [...].

– Законы бального съезда одинаковы, королева, – шептал Коровьев, – сейчас волна начнет спадать. Клянусь, что мы терпим последние минуты. Вон группа брокенских гуляк, они всегда приезжают последними. Ну да, вот они. Два пьяных вампира... все? Ах, нет, вот еще один... нет, двое!

По лестнице поднимались двое последних гостей.

– Да это кто-то новенький, – говорил Коровьев, щурясь сквозь стеклышко. – Ах, да, да. Как-то раз Азazelло навестил его и за коньяком нащептал ему совет, как избавиться от одного

человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему знакомому, находившемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом...

– Как его зовут? – спросила Маргарита.

– А, право, я сам еще не знаю, – ответил Коровьев, – надо спросить у Азazelло.

– А кто с ним?

– А вот этот самый исполнительный его подчиненный. Я восхищен! – прокричал Коровьев последним дум.

Лестница опустела. Из осторожности подождали еще немного. Но из камина более никто не выходил.

Голова Маргариты начала кружиться от запаха вина и она уже хотела уходить, как кот устроил в бассейне номер, задержавший Маргариту. Бегемот наколдовал чего-то у пасти Нептуна, и тотчас с шипением и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из бассейна, а Нептун стал извергать не играющую, не пенящуюся волну темно-желтого цвета. Дамы с визгом и воплем:

– Коньяк! – кинулись от краев бассейна за колонны. Через несколько секунд бассейн был полон, и кот, трижды перевернувшись в воздухе, обрушился в колыхающийся коньяк. Вылез он, отфыркиваясь, с раскисшим галстуком, потеряв позолоту с усов и свой бинокль. Примеру Бегемота решила последовать только одна, та самая затейница-портниха и ее кавалер, неизвестный молодой мулат. Оба они бросились в коньяк, но тут Коровьев подхватил Маргариту под руку, и они покинули купальщиков.

Маргарите показалось, что она пролетела где-то, где видела в громадных каменных прудах горы устриц. Потом она летела над стеклянным полом с горящими под ним адскими топками и мечущимися между ними дьявольскими белыми поварами. Потом где-то она, уже переставая что-либо соображать, видела темные подвалы, где горели какие-то светильники, где девушки подавали шипящее на раскаленных углях мясо, где пили из больших кружек за ее здоровье. Потом она видела белых медведей, игравших на гармониках и пляшущих комаринского на эстраде. Фокусника-саламандру, не сгоравшего в камине... И во второй раз силы ее стали иссякать.

[...] я счастлив рекомендовать вам, – обратится Воланд к гостям, – почтеннейшего барона Майгеля, служащего зрелищной комиссии в должности ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы.

Более того, злые языки уже уронили слово – наушник и шпион. И еще [...].

[...] а эти дурацкие медведи, а также и тигры в баре – своим ревом едва не довели меня до мигрени, – сказал Воланд.

– Слушаю, мессир, – сказал кот, – если вы находите, что нет размаха, и я немедленно начну держаться того же мнения.

– Ты смотри! – ответил на это Воланд.

– Я пошутил, – со смирением сказал кот, – а что касается тигров, то я их велю зажарить.

– Тигров есть нельзя, – сказала Гелла.

– Вы полагаете? Тогда прошу послушать, – отозвался кот, и, жмурясь от удовольствия, рассказал о том, как однажды он скитался в течение девятнадцати дней в пустыне и единственно, чем питался, это мясом убитого им тигра. Все с интересом прослушали это занимательное повествование, а когда Бегемот кончил его, все хором воскликнули:

– Вранье!

– И интереснее всего в этом вранье то, – сказал Воланд, – что оно – вранье от первого до последнего слова.

– Ах, так? Вранье? – воскликнул кот, и все подумали, что он начнет протестовать, но он только тихо сказал: – история рассудит нас.

– Я так взволновалась! – воскликнула Маргарита, – это случилось так неожиданно!

– Ничего в этом нет неожиданного, – возразил Азazelло, а Коровьев завыл и заныл:

– Как же не взволноваться? У меня, у самого, поджилки затряслись! Бух! Раз! Барон на бок!

– Со мной едва истерика не сделалась, – добавил кот, облизывая ложку с икрой.

– Вот что мне непонятно, – говорила Маргарита, и золотые

искры от хрусталя прыгали у нее в глазах, – неужели снаружи не было слышно музыки и вообще грохота этого бала?

– Конечно, не было слышно, королева, – объяснял Коровьев, – это надо делать так, чтобы не было слышно. Это поаккуратнее надо делать.

– Ну да, ну да... А то ведь, дело в том, что этот человек на лестнице... вот когда мы проходили с Азazelло... и другой у подъезда... я думаю, что он наблюдал за вашей квартирой...

– Верно, верно! – кричал Коровьев, – верно, дорогая Маргарита Николаевна! Вы подтверждаете мои подозрения! Да, он наблюдал за квартирой! Я сам, было, принял его за рассеянного приватдоцента или влюбленного, томящегося на лестнице. Но нет, нет! Что-то сосало мое сердце! Ах, он наблюдал за квартирой! И другой у подъезда тоже! И тот, что был в подворотне, то же самое!

– А вот интересно, если вас придут арестовывать? – спросила Маргарита.

– Непременно придут, очаровательная королева, непременно! – отвечал Коровьев, – чует сердце, что придут. Не сейчас, конечно, но в свое время обязательно придут. Но полагаю, что ничего интересного не будет.

Кот сидел, насупившись, во время опыта со стрельбой, и вдруг объявил:

– Берусь перекрыть рекорд с семеркой.

Азazelло в ответ на это что-то прорычал. Но кот был упорен и потребовал не один, а два револьвера. Азazelло вынул второй револьвер из второго заднего кармана брюк и вместе с первым, презрительно кривя рот, протянул хвостуну. Наметили два очка на семерке. Кот долго приготавливался, отвернувшись от подушки. Маргарита сидела, заткнув пальцами уши, и глядела на сову, дремавшую на каминной полке. Кот выстрелил из обоих револьверов, после чего сейчас же взвизгнула Гелла, убитая сова упала с камина и разбитые часы остановились. Гелла, у которой одна рука была окровавлена, с воем вцепилась в шерсть коту, а он ей в ответ – в волосы, и они, свившись в клубок, покатались по полу. Один из бокалов упал со стола и разбился.

– Оттащите от меня взбесившуюся чертовку! – завывал кот, отбиваясь от Геллы, сидевшей на нем верхом. Дерущихся разняли, а Коровьев подул на простреленный палец Геллы, и тот зажил.

– Я не могу стрелять, когда под руку говорят! – кричал Бегемот и старался приладить на место выдранный у него из спины громадный клочок шерсти.

– Держу пари, – сказал Воланд, улыбаясь Маргарите, – что проделал он эту штуку нарочно. Он стреляет порядно.

Гелла с котом помирились и в знак этого примирения они поцеловались. Достали из-под подушки карту, проверили. Ни одно очко, кроме того, что было прострелено Азазелло, не было затронуто.

– Этого не может быть, – утверждал кот, глядя сквозь карту на свет канделябра.

Так что если бы он и продолжался еще, я опять предоставила бы мое колено для того, чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. – Маргарита глядела на Воланда, как сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

– Верно! Вы совершенно правы! – гулко и страшно прокричал Воланд, – так и надо!

– Так и надо! – как эхо повторила свита Воланда.

Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками?

[...] и на всякий случай отклонился от Маргариты, прикрыв вымазанными в розовом креме лапами свои острые уши.

– Пошел вон, – сказал ему Воланд.

– Я еще кофе не пил, – ответил кот, – как же это я уйду? Неужели, мессир, в праздничную ночь гостей за столом разделяют на два сорта? Одни – первой, а другие, как выражался этот грустный скупердьяй-буфетчик, второй свежести?

[...] большими глазами.

– Да, – заговорил после молчанья Воланд, – его хорошо отделили. – Он [...].

Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила:

– Всесилен! Всесилен!

– Ну, теперь все ясно, – сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи.

– Совершенно ясно, – подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией, – теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азazelло? – обратился он к молчащему Азazelло.

– Я говорю, – прогнусил тот, – что тебя хорошо было бы утопить.

– Будь милосерден, Азazelло, – ответил ему кот, – и не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь мне, что всякую ночь я являлся бы тебе в таком же лунном одеянии, как и бедный мастер, и кивал бы тебе и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, о Азazelло?

Шипение разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая:

– Знай ведьму, знай! – вцепилась в лицо Алоизия Могарыча ногтями.

Произошло смятение.

– Что ты делаешь? – страдальчески прокричал мастер. – Марго, не позорь себя!

– Протестую! Это не позор! – орал кот.

Маргариту оттащил Коровьев.

– Я ванну пристроил... – стуча зубами, кричал окровавленный Могарыч [...].

– Нет документа, нет и человека, – удовлетворенно говорил Коровьев [...].

– Вы правильно сказали, – говорил мастер, пораженный чистотой работы Коровьева, – что раз нет документа, нету и человека. Вот именно меня-то и нет, – у меня нет документа.

– Я извиняюсь, – вскричал Коровьев, – это именно галлюцинация, вот он ваш документ, – и Коровьев подал мастеру документ. Потом он завел глаза и сладко прошептал Маргарите: [...].

Не хочу я больше в особняк! Ни за инженера, ни за техника не пойду!

А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение?

– У меня нет больше никаких мечтаний и вдохновения тоже нет, – ответил мастер, – никто меня вокруг не интересуется, кроме нее, – он опять положил руку на голову Маргариты, – меня сломали, мне скучно и я хочу в подвал.

– А ваш роман? Пилат?

– Он мне ненавистен, этот роман, – ответил мастер, – я слишком много испытал из-за него.

– Этого Лапшенникова не напечатает, да, кроме того, это и не интересно.

– А чем же вы будете жить? Ведь придется нищенствовать?

– Охотно, охотно, – ответил мастер, притянув к себе Маргариту. Обнял ее за плечи и прибавил: – Она образумится, уйдет от меня...

– Не думаю, – сквозь зубы сказал Воланд и продолжал: – Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал, в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать?

[...] спящего на крыльце и, по-видимому, спящего мертвым сном человека в сапогах и кепке, а также [...].

Тьфу ты, что в туфлях!... Да ведь дамочка-то голая! Ну да, ряса накинута прямо на голое тело!...

Вернув Маргарите подарок Воланда, Азazelло распрощался с нею, спросил, удобно ли ей сидеть, а Гелла сочно расцеловалась с Маргаритой, кот приложился к ее руке, провожатые помахали руками безжизненно и неподвижно завалившемуся в угол сиденья мастеру, махнули грачу и тотчас растаяли в воздухе, не считая нужным утруждать себя подъемом по лестнице. Грач зажег фары и выкатил в ворота мимо мертво спящего человека в подворотне. И огни большой черной машины [...].

– Я полагаю, прокуратор, – ответил гость, – что настроение в Ершалаиме теперь удовлетворительно.

– Так что можно ручаться, что беспорядки более не угрожают?

– Ручаться можно, – ласково поглядывая на прокуратора, ответил гость, – лишь за одно в мире – за мощь великого кесаря.

– Да пошлют ему боги долгую жизнь! – тотчас же подхватил Пилат, – и всеобщий мир! – Он помолчал и продолжал: – Так что вы полагаете, что войска теперь можно увести?

– Я полагаю, что когорта Молниеносного может уйти, – ответил гость и прибавил: – хорошо бы было, если бы на прощанье она продефилировала по городу.

[...] ему неудобно бунтовать теперь.

– Слишком знаменит? – спросил Пилат, усмехнувшись.

Прокуратор, как всегда, тонко понимает вопрос.

– Не пытался ли он проповедывать что-либо в присутствии солдат?

– Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это – что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.

– К чему это было сказано? – услышал гость внезапно треснувший голос.

– Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда.

– В чем странность?

– Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой.

За сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска. Потирая висок, в котором от адской утренней боли осталось только тупое, немного ноющее воспоминание, прокуратор все силился понять, в чем причина его душевных мучений. И быстро он понял это, но постарался обмануть себя. Ему ясно было, что сегодня днем он что-то безвозвратно упустил, и теперь он упущенное хочет исправить какими-то мелкими и ничтожными, а главное – запоздавшими действиями. Обман же самого себя заключался в том, что прокуратор старался внушить себе, что действия эти, теперешние, вечерние, не менее важны, чем утренний приговор. Но это очень плохо удавалось прокуратору.

И, конечно, ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было! Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны.

Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача!

И первое, что вспомнил, это, что казнь была. Первое, что сделал прокуратор, это [...].

Объясните, почему?

– Ни в коем случае не допускаю мысли, – говорил негромко Афраний, – о том, чтобы Иуда дался в руки каким-нибудь подозрительным людям в черте города. На улице не зарежешь тайно. Значит, его должны были заманить куда-нибудь в подвал.

Но служба уже искала его в Нижнем Городе и, несомненно, нашла бы. Но его нет в городе, за это вам ручаюсь. Если бы его убили вдалеке от города, этот пакет с деньгами не мог бы быть подброшен так скоро. Он убит вблизи города. Его сумели выманить за город.

– Не постигаю, каким образом это можно было сделать!

– Да, прокуратор, это самый трудный вопрос во всем деле, и я даже не знаю, удастся ли мне его разрешить.

– Действительно, загадочно! В праздничный вечер верующий уходит неизвестно зачем за город, покинув пасхальную трапезу, и там погибает. Кто и чем мог его выманить? Не сделала ли это женщина? – вдруг вдохновенно спросил прокуратор.

Афраний отвечал спокойно и веско:

– Ни в коем случае, прокуратор. Эта возможность совершенно исключена. Надлежит рассуждать логически. Кто был заинтересован в гибели Иуды? Какие-то бродячие фантазеры, какой-то кружок, в котором, прежде всего, не было никаких женщин. Чтобы жениться, прокуратор, требуются деньги. Чтобы произвести на свет человека, нужны они же. Но чтобы зарезать человека при помощи женщины, нужны очень большие деньги и ни у каких бродяг их нет. Женщины не было в этом деле, прокуратор. Более того, скажу, такое толкование убийства может лишь сбивать со следу, мешать следствию и путать меня.

– Я вижу, что вы совершенно правы, Афраний, – говорил Пилат, – и я лишь позволил себе высказать свое предположение.

– Оно, увы, ошибочно, прокуратор.

– Но что же, что же тогда? – воскликнул прокуратор, с жадным любопытством всматриваясь в лицо Афрания.

– Я полагаю, что это все те же деньги.

– Замечательная мысль! Но кто и за что мог предложить ему деньги ночью за городом?

– О нет, прокуратор, не так. У меня есть единственное предположение, и если оно неверно, то других объяснений я, пожалуй, не найду. – Афраний наклонился поближе к прокуратору и шепотом договорил: – Иуда хотел спрятать свои деньги в укромном, ему одному известном месте.

– Очень тонкое объяснение. Так, по-видимому, дело и обстояло. Теперь я вас понимаю: его выманили не люди, а его собственная цель. Да, да, это так.

– Так. Иуда был недоверчив, он прятал деньги от людей.

– Да, вы сказали, в Гефсимании... А вот почему именно там вы намерены искать его – этого, признаюсь, я не пойму.

– О, прокуратор, это проще всего. Никто не будет прятать деньги на дорогах, в открытых и пустых местах. Иуда не был ни на дороге в Хеврон, ни на дороге в Вифанию. Он должен был быть в защищенном, укромном месте с деревьями. Это так просто. А таких других мест, кроме Гефсимании, под Ершалаимом нет. Далеко он уйти не мог.

– Вы совершенно убедили меня. Итак, что же делать теперь?

– Я немедленно начну искать убийц, которые выследили Иуду за городом, а сам, тем временем, как я уже докладывал вам, пойду под суд.

– За что?

– Моя охрана упустила его вечером на базаре, после того, как он покинул дворец Каифы. Как это произошло, не постигаю. Этого еще не было в моей жизни. Он был взят в наблюдение тотчас же после нашего разговора. Но в районе базара он переложился куда-то, сделал такую странную петлю, что бесследно ушел.

– Так. Объявляю вам, что я не считаю нужным отдавать вас под суд. Вы сделали все, что могли, и никто в мире, – тут прокуратор улыбнулся, – не сумел бы сделать больше вашего! Взыщите с сыщиков, потерявших Иуду. Но и тут, предупреждая вас, я не хотел бы, чтобы взыскание было хоть сколько-нибудь строгим. В конце концов, мы сделали все, для того чтобы позаботиться об этом негодяе!

Да, впрочем... – Тут Афраний сорвал печать с пакета и показал его внутренность Пилату.

– Помилуйте, что вы делаете, Афраний, ведь печати-то, наверно, храмовые!

– Прокуратору не стоит беспокоить себя этим вопросом, – ответил Афраний, закрывая пакет.

– Неужели все печати есть у вас? – рассмеявшись, спросил Пилат.

– Иначе быть не может, прокуратор, – без всякого смеха, очень сурово ответил Афраний.

– Да, Афраний, вот что внезапно мне пришло в голову: не покончил ли он сам с собой?

– О нет, прокуратор, – даже откинувшись от удивления в

кресле, ответил Афраний, – простите меня, но это совершенно невероятно!

– Ах, в этом городе все вероятно. Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу.

Тут Афраний метнул опять в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил:

– Это может быть, прокуратор.

Прокуратор, видимо, все не мог расстаться с этим вопросом об убийстве человека из Кириафа, хотя и так уж все было ясно, и сказал даже с некоторой мечтательностью:

– А я желал бы видеть, как они убивали его.

– Убит он с чрезвычайным искусством, прокуратор, – ответил Афраний, с некоторой иронией поглядывая на прокуратора.

– Откуда же вы это-то знаете?

– Благоволите обратить внимание на мешок, прокуратор, – ответил Афраний, – я вам ручаюсь за то, что кровь Иуды хлынула волной. Мне приходилось видеть убитых, прокуратор, на своем веку.

– Так что он, конечно, не встанет?

– Нет, прокуратор, он встанет, – ответил, улыбаясь философски, Афраний, – когда труба мессии, которого здесь ожидают, прозвучит над ним. Но ранее он не встанет.

Прокуратор изучал пришедшего человека жадными и немного испуганными глазами. Так смотрят на того, о ком слышали много, о ком и сами думали, и кто, наконец, появился.

Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал слова: « ... большего порока... трусость... ».

– Не будь ревнив, – скалясь, ответил Пилат и потер руки, – я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя.

– Кто это сделал? – шепотом повторил Левий.

[...] и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом большую площадь, которую специальные машины, медленно разъезжая с гудением, чистили щетками, светились полным светом, прорезавшим свет восходящего солнца.

После обеда в пятницу в квартире его, помещающейся в доме у Каменного моста, раздался звонок и мужской голос попросил к телефону Аркадия Аполлоновича. Подошедшая к аппарату супруга Аркадия Аполлоновича ответила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег поживать и подойти к аппарату не может. Однако, Аркадию Аполлоновичу подойти к телефону все-таки пришлось. На вопрос о том, откуда спрашивают Аркадия Аполлоновича, голос в телефоне очень коротко ответил, откуда.

– Сию секунду... сейчас... сию минуту... – пролепетала обычно очень надменная супруга председателя акустической комиссии и, как стрела, полетела в спальню поднимать Аркадия Аполлоновича с ложа, на котором тот лежал, испытывая адские терзания при воспоминании о вчерашнем сеансе и о ночном скандале, сопровождавшем изгнание из квартиры саратовской его племянницы.

Правда, не через секунду, но даже и не через минуту, а через четверть минуты Аркадий Аполлонович в одной туфле на левой ноге, в одном белье, уже был у аппарата, лепеча в него:

– Да, это я... слушаю, слушаю...

Супруга его, на эти мгновения забывшая все омерзительные преступления против верности, в которых несчастный Аркадий Аполлонович был уличен, с испуганным лицом высовывалась в дверь коридора, тыкала туфлей в воздух и шептала:

– Туфлю надень, туфлю... ноги простудишь... – На что Аркадий Аполлонович, отмахиваясь от жены босой ногой и делая ей зверские глаза, бормотал в телефон:

– Да, да, да, как же... я понимаю... сейчас выезжаю...

Весь вечер Аркадий Аполлонович провел в том самом этаже, где велось следствие.

Выходило что-то, воля ваша, несусветное: тысячи зрителей, весь состав Варьете, наконец, Семплеяров Аркадий Аполлонович, наиболее образованный человек, видели этого мага, равно как и треклятых его ассистентов, а между тем нигде его найти никакой возможности нет. Что же, позвольте вас спросить, он провалился, что ли, сквозь землю тотчас после своего отвратительного сеанса или же, как утверждают некоторые, вовсе не приезжал в Москву? Но если допустить первое, то несомненно, что, проваливаясь, он прихватил с собою всю головку администрации Варьете, а если – второе, то не выходит ли, что сама администрация злосчастливого театра, учинив предварительно какую-то пакость (вспомните только разбитое окно в кабинете и поведение Тузабубен!), бесследно скрылась из Москвы.

Из Москвы телеграммой было приказано Римского под охраной доставить в Москву, вследствие чего Римский в пятницу вечером и выехал под такой охраной с вечерним поездом.

[...] и в комнату вошел молодой, круглолицый, спокойный и мягкий в обращении человек, совсем не похожий на следователя и тем не менее один из лучших следователей Москвы. Он увидел лежащего на кровати побледневшего и осунувшегося молодого человека, с глазами, в которых читалось отсутствие интереса к происходящему вокруг, с глазами, то обращающимися куда-то вдаль, поверх окружающего, то внутрь самого молодого человека.

А были там уже не раз и в разное время суток. И, мало этого, по квартире проходили с сетью, проверяя все углы. Квартира была давно уже под подозрением. Охраняли не только тот путь, что вел во двор через подворотню, но и черный ход. Мало этого, на крыше у дымовых труб была поставлена охрана.

Теперь уж не могло идти речи о том, чтобы взять кота живым, и пришедшие метко и бешено стреляли ему в ответ из маузеров и в голову, и живот, в грудь и в спину. Стрельба вызвала панику на асфальте во дворе.

[...] после начала пожара на Садовой, у зеркальных дверей Торгсина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот.

Ловко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магазина. Но тут маленький, костлявый и крайне недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздраженно сказал:

– С котами нельзя!

– Я извиняюсь, – задрезжал длинный и приложил узловатую руку к уху, как тугоухий, – с котами, вы говорите? А где же вы видите котов?

Швейцар выпучил глаза и было отчего: никакого кота у ног гражданина уже не оказалось, а из-за плеча его, вместо этого, уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка имелся примус.

Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу.

– У нас только на валюту, – прохрипел он, раздраженно глядя из-под лохматых, как бы молью изъеденных сивых бровей.

– Дорогой мой, – задрезжал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне, – а откуда же вам известно, что ее у меня нет? Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж! Вы можете ошибиться и при том весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун-Аль-Рашида. Но в данном случае, откидывая эту историю временно в сторону, я хочу сказать вам, что я нажалуюсь на вас заведующему и порасскажу ему о вас таких вещей, что не пришлось бы вам покинуть ваш пост между сверкающими зеркальными дверями.

– У меня, может быть, полный примус валюты, – запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк, так и прущий в магазин.

Сзади уже напирала и сердилась публика. С ненавистью и сомнением глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые, Коровьев и Бегемот, очутились в магазине. Здесь они первым делом осмотрелись, и затем звонким голосом, слышным решительно во всех углах, Коровьев объявил:

– Прекрасный магазин! Очень, очень хороший магазин!

Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего, хотя хвалить магазин у того были все основания:

Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фракные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую – в новой, сверкающей лодочке, которую они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны.

Но, минуя все эти прелести, Коровьев и Бегемот направились прямо к стыку гастрономического и кондитерского отделений. Здесь было очень просторно, гражданки в платочках и беретках не напирали на прилавки, как в ситцевом отделении.

Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках, в новешенькой шляпе, не измятой и без подтеков на ленте, в сиреновом пальто и в лайковых рыжих перчатках, стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал сиреневого клиента. Острейшим ножом, очень похожим на нож, украденный Левием Матвеем, он снимал с жирной плачущей розовой лососины ее похожую на змеиную с серебристым отливом шкуру.

– И это отделение великолепно, – торжественно признал Коровьев, – и иностранец симпатичный, – он благожелательно указал пальцем на сиреневую спину.

– Нет, Фагот, нет, – задумчиво ответил Бегемот, – ты, дружок, ошибаешься: в лице сиреневого джентльмена чего-то не хватает, по-моему.

Сиреневая спина вздрогнула, но, вероятно, случайно, ибо не мог же иностранец понять то, что говорили по-русски Коровьев и его спутник.

– Кароши? – строго спрашивал сиреневый покупатель.

– Мировая! – отвечал продавец, кокетливо ковыряя острием ножа под шкурой.

– Кароши люблю, плохой – нет, – сурово говорил иностранец.

– Как же! – восторженно отвечал продавец.

Тут наши знакомые отошли от иностранца с его лососиной к краю кондитерского прилавка.

– Жарко сегодня, – обратился Коровьев к молоденькой, краснощекой продавщице и не получил от нее никакого ответа на это. – Почему мандарины? – осведомился тогда у нее Коровьев.

– Тридцать копеек кило, – ответила продавщица.

– Все кусается, – вздохнув, заметил Коровьев, – эх... эх... – он немного еще подумал и пригласил своего спутника. – Кушай, Бегемот.

Толстяк взял свой примус подмышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и, тут же со шкуркой сожравши его, принялся за второй.

Продавщицу обуял смертельный ужас.

– Вы с ума сошли! – вскричала она, теряя свой румянец, – чек подавайте! Чек! – и она уронила конфетные щипцы.

– Душенька, милочка, красавица, – засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице, – не при валюте мы сегодня, ну, что ты поделаешь? Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганом! Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар...

Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой.

Продавцы за рыбным прилавком как окаменели со своими ножами в руках, сиреневый иностранец повернулся к грабителям, и тут обнаружилось, что Бегемот неправ: у сиреневого не хватало чего-то в лице, а, наоборот, скорее было лишнее – висящие щеки и бегающие глаза.

Совершенно пожелтев, продавщица тоскливо прокричала на весь магазин:

– Палосич! Палосич!

Публика из ситцевого отделения повалила на этот крик, а Бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью: Сельдь керченская отборная, вытащил парочку селедочек и проглотил их, выплюнув хвосты.

– Палосич! – повторился отчаянный крик за прилавком кондитерского, а за рыбным прилавком гаркнул продавец в эспаньолке:

– Ты что же это делаешь, гад?!

Павел Иосифович уже спешил к месту действия. Это был

представительный мужчина в белом чистом халате, как хирург, и с карандашом, торчащим из кармана. Павел Иосифович, видимо, был опытным человеком. Увидев во рту у Бегемота хвост третьей селедки, он вмиг оценил положение, все решительно понял и, не вступая ни в какие пререкания с нахалами, махнул рукой вдаль, скомандовав:

– Свисти!

На угол Смоленского из зеркальных дверей вылетел швейцар и залился зловецким свистом. Публика стала окружать негодяев, и тогда в дело вступил Коровьев.

– Граждане! – вибрирующим тонким голосом прокричал он, – что же это делается? Ась? Позвольте вас об этом спросить! Бедный человек, – Коровьев подпустил дрожи в свой голос и указал на Бегемота, немедленно скроившего плаксивую физиономию, – бедный человек целый день починает примуса. Он проголодался... а откуда же ему взять валюту?

• Павел Иосифович, обычно сдержанный и спокойный, крикнул на это сурово:

– Ты это брось! – и махнул вдаль уже нетерпеливо. Тогда трели у дверей загремели повеселее.

Но Коровьев, не смущаясь выступлением Павла Иосифовича, продолжал:

– Откуда? – задаю я всем вопрос! Он истомлен голодом и жаждой, ему жарко! Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину три копейки. И вот они уже свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела. А ему можно, а! – и тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога, – кто он такой? А? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли? Конечно, – саркастически кривя рот, во весь голос орал бывший регент, – он, видите ли, в парадном сиреновом костюме, от лососины весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?!... Горько мне! Горько, горько! – завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе.

Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная речь заставила гневно содрогнуться Павла Иосифовича, но, как ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызвала сочувствие. А когда Бегемот, приложив грязный продранный рукав к глазу, воскликнул трагически:

– Спасибо, верный друг, заступился за пострадавшего! –

произошло чудо. Приличнейший тихий старичок, одетый бедно, но чистенько, старичок, покупавший три миндальных пирожных в кондитерском отделении, вдруг преобразился. Глаза его сверкнули боевым огнем, он побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол и крикнул:

– Правда! – детским тонким голосом. Затем он выхватил поднос, сбросив с него остатки погубленной Бегемотом шоколадной эйфелевой башни, взмахнул им, левой рукой сорвал с иностранца шляпу, а правой с размаху ударил подносом плащмя иностранца по плешивой голове. Прокатился такой звук, какой бывает, когда с грузовика сбрасывают на землю листовое железо. Толстяк, белея, повалился навзничь и сел в кадку с керченской сельдью, выбив из нее фонтан селедочного рассола. Тут же стряслось и второе чудо. Сиреневый, провалившись в кадку, на чистом русском языке, без признаков какого-либо акцента, вскричал:

– Убивают! Милицию! Меня бандиты убивают! – очевидно, вследствие потрясения, внезапно овладев до сих пор неизвестным ему языком.

Тогда прекратился свист швейцара и в толпах взволнованных покупателей замелькали, приближаясь, два милицейских шлема. Но коварный Бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул сам собой. Пламя ударило кверху и побежало вдоль прилавка, пожирая красивые бумажные ленты на корзинах с фруктами. Продавщицы с визгом кинулись бежать из-за прилавка и лишь только они выскочили из-за него, вспыхнули полотняные шторы на окнах, и на полу загорелся бензин.

Публика, сразу подняв отчаянный крик, шарахнулась из кондитерского назад, смяв более ненужного Павла Иосифовича, а из-за рыбного прилавка гуськом со своими отточенными ножами рысью побежали к дверям черного хода продавцы.

Сиреневый гражданин, выдравшись из кадки, весь в селедочной жиже, перевалился через семгу на прилавке и последовал за ними. Зазвенели и посыпались стекла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми, а оба негодяя, и Коровьев и обжора-Бегемот, куда-то девались, а куда, нельзя было понять. Потом уж очевидцы, присутствовавшие при начале пожара в торгсине на Смоленском, рассказывали, что будто бы оба хулигана взлетели вверх под потолок и там, будто бы, лопнули оба, как воздушные детские шары. Это,

конечно, сомнительно, чтобы дело было именно так, но чего не знаем, того не знаем.

Но знаем, что ровно через минуту после происшествия на Смоленском и [...].

– И очень просто, – опять-таки подтвердил Бегемот.

– Да, – продолжал Коровьев и озабоченно поднял палец, – но!... Но, говорю я и повторяю это «но»!... Если на эти нежные тепличные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корне, если они не загниют! А это бывает с ананасами! Ой-ой-ой, как бывает!

[...] появился на веранде потный и взволнованный хроникер Боба Кандаупский, известный в Москве своим поразительным всеведением, и сейчас же подсел к Петраковым. Положив свой разбухший портфель на столик, Боба немедленно всунул свои губы в ухо Петракову и зашептал в него какие-то очень соблазнительные вещи. Мадам Петракова, изнывая от любопытства, и свое ухо подставила к пухлым масляным губам Бобы. А тот, изредка воровски оглядываясь, все шептал и шептал, и можно было расслышать отдельные слова, вроде таких:

– Клянусь вам честью! На Садовой, на Садовой!... – Боба еще больше снизил голос, – не берут пули!... пули... пули... бензин... пожар... пули...

– Вот этих бы врунов, которые распространяют гадкие слухи, – в негодовании несколько громче, чем хотел бы Боба, загудела контрольным голосом мадам Петракова, – вот их бы следовало разъяснить! Ну, ничего, так и будет, их приведут в порядок! Какие вредные враки!

– Какие же враки, Антонида Порфирьевна! – воскликнул огорченный неверием супруги писателя Боба и опять засвистел: – говорю вам, пули не берут!... А теперь пожар... они по воздуху... по воздуху! – Боба шипел, не подозревая того, что те, о ком он рассказывал, сидят рядом с ним, наслаждаясь его свистом.

Впрочем, это наслаждение вскоре прекратилось.

Воланд заговорил:

– Какой интересный город, не правда ли?

Азazelло шевельнулся и ответил почтительно:

– Мессир, мне больше нравится Рим.

– Да, это дело вкуса, – ответил Воланд.

Через некоторое время опять раздался его голос:

– А отчего это дым там, на бульваре?

– Это горит Грибоедов, – ответил Азazelло.

– Надо полагать, что это неразлучная парочка, Коровьев и Бегемот, побывала там?

– В этом нет никакого сомнения, мессир.

Опять наступило молчание, и оба находящиеся на террасе глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное ослепительное солнце. Глаз Воланда горел точно так же, как одно из таких окон, хотя Воланд сидел спиной к закату.

– Мессир, вообразите! – закричал возбужденно и радостно Бегемот, – меня за мародёра приняли!

– Судя по принесенным тобой предметам, – ответил Воланд, – поглядывая на ландшафтик, – ты и есть мародёр.

– Верите, ли, мессир... – задушевым голосом начал Бегемот.

– Нет, не верю, – коротко ответил Воланд.

– Мессир, клянусь, я делал героические попытки спасти все, что было можно, и вот все, что удалось отстоять.

– Ты лучше скажи, отчего Грибоедов загорелся? – спросил Воланд.

Оба, и Коровьев и Бегемот, развели руками, подняли глаза к небу, а Бегемот вскричал:

– Не постигаю! Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали...

– И вдруг – трах, трах! – подхватил Коровьев, – выстрелы! Обезумев от страха, мы с Бегемотом кинулись бежать на бульвар, преследователи за нами, мы бросились к Тимирязеву!...

– Но чувство долга, – вступил Бегемот, – побороло наш постыдный страх, и мы вернулись.

– Ах, вы вернулись? – сказал Воланд. – Ну, конечно, тогда здание сгорело дотла.

– Дотла! – горестно подтвердил Коровьев, – то есть буквально, мессир, дотла, как вы изволили метко выразиться. Одни головешки!

– Я устремился, – рассказывал Бегемот, – в зал заседаний, это который с колоннами, мессир, рассчитывая вытащить что-нибудь ценное. Ах, мессир, моя жена, если б только она у меня была, двадцать раз рисковала остаться вдовой! Но, по счастью, мессир, я не женат, и скажу вам прямо счастлив, что не женат. Ах, мессир, можно ли променять холостую свободу на тягостное ярмо!...

– Опять началась какая-то чушь, – заметил Воланд.

– Слушаю и продолжаю, – ответил кот, – да-с, вот ландшафтик! Более ничего невозможно было унести из зала, пламя ударило мне в лицо. Я побежал в кладовку, спас семгу. Я побежал в кухню, спас халат. Я считаю, мессир, что я сделал все, что мог, и не понимаю, чем объясняется скептическое выражение на вашем лице.

– А что делал Коровьев в то время, когда ты мародерствовал? – спросил Воланд.

– Я помогал пожарным, мессир, – ответил Коровьев, указывая на разорванные брюки.

– Ах, если так, то, конечно, придется строить новое здание.

– Оно будет построено, мессир, – отозвался Коровьев, – смею уверить вас в этом.

– Ну, что же, остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего, – заметил Воланд.

– Так и будет, мессир, – сказал Коровьев.

– Уж вы мне верьте, – добавил кот, – я – форменный пророк.

Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим в ее мгле.

Вместо ответа Маргарита обрушилась на диван, захохотала, заболтала босыми ногами и потом уж вскричала:

– Ой, не могу... ой, не могу!... Ты посмотри только, на что ты похож!...

Отхохотавшись, пока мастер стыдливо поддергивал больничные кальсоны, Маргарита стала серьезной.

– Ты сейчас невольно сказал правду, – заговорила она, – черт знает, что такое, и черт, поверь мне, все устроит! – глаза ее вдруг загорелись, она вскочила, затанцевала на месте и стала вскрикивать: – как я счастлива, как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку! О, дьявол, дьявол!... Придется вам, мой милый, жить с ведьмой! – После этого она кинулась к мастеру, обхватила его шею и стала целовать его в губы, в нос, в щеки. Вихры неприглаженных черных волос прыгали на мастере, и щеки и лоб его разгорались под поцелуями.

– А ты, действительно, стала похожей на ведьму.

– А я этого и не отрицаю, – ответила Маргарита, – я ведьма и очень этим довольна.

– Ну, хорошо, – говорил мастер, – ведьма, так ведьма, очень славно и роскошно! Меня, стало быть, похитили из лечебницы... тоже очень мило! Вернули сюда, допустим и это. Предположим даже, что нас не хватятся... Но, скажи ты мне ради всего святого, чем и как мы будем жить? Говоря это, я забочусь о тебе, поверь мне!

В этот момент в оконце показались тупоносые ботинки и нижняя часть брюк в жилочку. Затем эти брюки согнулись в колене и дневной свет заслонил чей-то увесистый зад.

– Алоизий, ты дома? – спросил голос, где-то вверху над брюками, за окном.

– Вот, начинается, – сказал мастер.

– Алоизий? – спросила Маргарита, подходя ближе к окну, –

его арестовали вчера. А кто его спрашивает? Как ваша фамилия?

В то же мгновение колени и зад пропали, и слышно было, как стукнула калитка, после чего все пришло в норму. Маргарита повалилась на диван и захохотала так, что слезы покатались у нее из глаз. Но когда она утихла, лицо ее сильнейшим образом изменилось, она заговорила серьезно и, говоря, сползла с дивана, подползла к коленям мастера и, глядя ему в глаза, стала гладить голову.

– Как ты страдал, как ты страдал, мой бедный! Об этом знаю только я одна. Смотри, у тебя седые нити в голове и вечная складка у губ! Мой единственный, мой милый, не думай ни о чем! Тебе слишком много пришлось думать, и теперь буду думать я за тебя. И я ручаюсь тебе, ручаюсь, что все будет ослепительно хорошо!

– Я ничего и не боюсь, Марго, – вдруг ответил ей мастер и поднял голову и показался ей таким, каким был, когда сочинял то, чего никогда не видал, но о чем наверно знал, что оно было, – и не боюсь, потому что я все уже испытал. Меня слишком пугали и ничем более напугать не могут. Но мне жалко тебя, Марго, вот в чем фокус, вот почему я и твержу об одном и том же. Опомнись! Зачем тебе ломать свою жизнь с больным и нищим? Вернись к себе! Жалею тебя, потому это и говорю.

– Ах, ты, ты... – качая растрепанной головой, шептала Маргарита, – ах, ты, маловерный, несчастный человек!... Я из-за тебя всю ночь вчера тряслась нагая, я потеряла свою природу и заменила ее новой, несколько месяцев я сидела в темной камерке и думала только про одно, про грозу над Ершалаимом, я выплакала все глаза, а теперь когда обрушилось счастье, ты меня гонишь! Ну что же, я уйду, я уйду, но знай, что ты жестокий человек! Они опустошили тебе душу!

Горькая нежность поднялась к сердцу мастера и, неизвестно почему, он заплакал, уткнувшись в волосы Маргариты. Та, плача, шептала ему, и пальцы ее прыгали на висках мастера.

– Да, нити, нити... на моих глазах покрывается снегом голова... ах, моя, моя много страдавшая голова! Смотри, какие у тебя глаза! В них пустыня... а плечи, плечи с бременем... искалечили, искалечили... – Речь Маргариты становилась бессвязной, Маргарита содрогалась от плача.

Тогда мастер вытер глаза, поднял с колен Маргариту, встал и сам и твердо сказал:

– Довольно. Ты меня пристыдила. Я никогда больше не допущу малодушия и не вернусь к этому вопросу, будь покойна.

Я знаю, что мы оба – жертвы своей душевной болезни, которую, быть может, я передал тебе... Ну, что ж, вместе и понесем ее.

– Ну, и ладно, ладно, – отозвался мастер и, засмеявшись, добавил: – конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы! Ну, что же, согласен искать там.

– Ну, вот, ну, вот, теперь ты прежний, ты смеешься, – отвечала Маргарита, – и ну тебя к черту с твоими учеными словами. Потусторонняя или не потусторонняя, не все ли равно? Я хочу есть! – и она потащила за руку мастера к столу.

– Я не уверен, что эта еда не провалится сейчас сквозь землю или не улетит в окно, – говорил тот, совершенно успокоившись.

– Она не улетит.

Но, простите меня, Азazelло, что я голая!

Азazelло просил не беспокоиться, уверяя, что он видел не только голых женщин, но даже женщин с начисто содранной кожей, охотно подсел к столу, предварительно поставив в угол у печки какой-то сверток в темной парче.

Наблюдательность ему не изменила. Выпив третью стопку коньяку, который на Азazelло не производил никакого действия, визитер заговорил так:

– А уютный подвальчик, черт меня возьми! Один только вопрос возникает, чего в нем делать, в этом подвальчике?

– Про то же самое я и говорю. – засмеявшись, ответил мастер.

Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны?

– Гори, гори, прежняя жизнь!

– Гори, страдание! – кричала Маргарита.

– Какая красивая, – без зависти, но с грустью и с каким-то тихим умилением проговорил Иван, – вишь ты, как у вас все хорошо вышло. А вот у меня не так, – тут он подумал и задумчиво прибавил: – а, впрочем, может быть, и так...

– Так, так, – прошептала Маргарита и совсем склонилась к лежащему. – Вот я вас поцелую, и все у вас будет так, как надо.. в этом вы уж мне поверьте, я все уж видела, все знаю...

Прервал молчание соскучившийся Бегемот.

– Разрешите мне, мэтр, – заговорил он, – свистнуть перед скачкой на прощанье.

– Ты можешь испугать даму, – ответил Воланд, – и, кроме того, не забудь, что все твои сегодняшние безобразия уже закончились.

– Ах, нет, нет, мессир, – отозвалась Маргарита, сидящая в седле, как амазонка, подбоченившись и свесив до земли острый шлейф, – разрешите ему, пусть он свистнет. Меня охватила грусть перед дальней дорогой. Не правда ли, мессир, она вполне естественна даже тогда, когда человек знает, что в конце этой дороги его ждет счастье? Пусть посмешит он нас, а то я боюсь, что это кончится слезами, и все будет испорчено перед дорогой!

Воланд кивнул Бегемоту, тот очень оживился, соскочил с седла наземь, вложил пальцы в рот, надул щеки и свистнул. У Маргариты зазвенело в ушах. Конь ее взбросился на дыбы, в роще посыпались сухие сучья с деревьев, взлетела целая стая ворон и воробьев, столб пыли понесло к реке, и видно было, как в речном трамвае, проходившем мимо пристани, снесло у пассажиров несколько кепок в воду.

Мастер вздрогнул от свиста, но не обернулся, а стал жестикулировать еще беспокойнее, поднимая руку к небу, как бы грозя городу. Бегемот горделиво огляделся.

– Свистнуто, не спорю, – снисходительно заметил Коровьев, – действительно, свистнуто, но, если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне!

– Я ведь не регент, – с достоинством и надувшись, ответил Бегемот и неожиданно подмигнул Маргарите.

– А дай-ко-сь, я попробую по старой памяти, – сказал Коровьев, потер руки, подул на пальцы.

– Но ты смотри, смотри, – послышался суровый голос Воланда с коня, – без членовредительских штук.

– Мессир, поверьте, – отозвался Коровьев и приложил руку к сердцу, – пошутить, исключительно пошутить... – Тут он вдруг вытянулся вверх, как будто был резиновый, из пальцев правой руки устроил какую-то хитрую фигуру, завился, как винт, и затем, внезапно раскрутившись, свистнул.

Этого свиста Маргарита не услышала, но она его увидела в то время, как ее, вместе с горячим конем, бросило саженой на десять в сторону. Рядом с нею с корнем вырвало дубовое дерево и земля покрылась трещинами до самой реки. Огромный пласт берега, вместе с пристанью и рестораном, высадило в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег, зеленый и низменный, выплеснуло целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами. К ногам храпящего коня Маргариты швырнуло убитую свистом Фагота галку.

Мастера испугнул этот свист.

– Почему он так изменился? – спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда.

– Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, – ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, – его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл.

Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи.

[...] и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат.

Следствие по его делу продолжалось много времени. Ведь воистину, дело это было чудовищно! Не говоря уже о четырех сожженных домах и о сотнях сведенных с ума людей, были и убитые. О двух это можно сказать точно: о Берлиозе и об этом злосчастном служащем в Бюро по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями Москвы, бывшем бароне Майгеле. Ведь, они-то были убиты. Обгоревшие кости второго были обнаружены в квартире № 50 по Садовой улице после того, как потушили пожар. Да, были жертвы, и эти жертвы требовали следствия.

Но были и еще жертвы [...].

К числу лиц, порвавших с театром, помимо Аркадия Аполлоновича, надлежит отнести и Никанора Ивановича Босого, хоть тот и не был ничем связан с театрами, кроме любви к даровым билетам. Никанор Иванович не только не ходит ни в какой театр ни за деньги, ни даром, но даже меняется в лице при всяком театральном разговоре. В меньшей, а в большей степени возненавидел он, помимо театра, поэта Пушкина и талантливого артиста Савву Потаповича Куролесова. Того – до такой степени, что в прошлом году, увидев в газете окаймленное черным объявление о том, что Савву Потаповича в самый расцвет его карьеры хватил удар, – Никанор Иванович побагровел до того, что сам чуть не отправился вслед за Саввой Потаповичем и взревел: – «Так ему и надо!» Более того, в тот же вечер Никанор Иванович, на которого смерть популярного артиста навеяла массу тягостных воспоминаний, один, в компании только с полной луной, освещающей Садовую, напился до ужаса. И с каждой рюмкой удлинялась перед ним проклятая цепь ненавистных фигур, и были в этой цепи и Дунчиль Сергей Герардович, и красotka Ида Геркулановна, и тот рыжий владелец бойцовых гусей, и откровенный Канавкин Николай.

Ну, а с теми-то что же случилось? Помилуйте! Ровно ничего с ними не случилось, да и случиться не может, ибо никогда в действительности не было их, как не было и симпатичного артиста-конферансье, и самого театра, и старой сквальги Пороховниковой тетки, гноящей валюту в погребе, и уж, конечно, золотых труб не было и наглых поваров. Все это толко снилось Никанору Ивановичу под влиянием поганца-Коровьева. Единственный живой, влетевший в этот сон, именно и был Савва Потапович – артист, и ввязался он в это только потому, что врезался в память Никанору Ивановичу благодаря своим частым выступлениям по радио. Он был, а остальных не было.

Так, может быть, не было и Алоизия Могарыча? О, нет! Этот не только был, но [...].

Achévé d'imprimer le 10 juillet 1967
sur les presses d'Impressa S.A., à Genève